

DOI 10.18522/2415-8852-2023-4-70-83

УДК 09

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ШКУРАТОВА**Владимир Семенович Слепаков**

кандидат философских наук, независимый исследователь (Москва, Россия)

e-mail: menelik@mail.ru

ORCID 0009-0001-1280-129X

Аннотация. О тесном переплетении «я» гуманитария, его жизненной траектории и сферы научных интересов автор статьи рассуждает на примере письменной личности – термина, разработанного В.А. Шкуратовым в рамках оригинального проекта исторической психологии. Историческая психология из перспективы, намеченной ростовским профессором, определяется как междисциплинарная область, где существование человека в большом времени истории изучается без отрыва от культурно-исторического становления отдельных психических процессов, состояний и явлений. Доступ исследователя к внутреннему миру человека прошлых эпох, рассматриваемому в его целостности, здесь обеспечивается исключительно через серию объективаций и опосредований, главным из которых была и остается письменность. Письменная личность, таким образом, превращается в текстах Шкуратова в краеугольную модель для изучения разных способов бытования личности в истории и культуре. Отталкиваясь от этой эпистемической базы, автор статьи создает фрагментарные, как сама память, воспоминания о профессоре Шкуратове, где он предстает человеком, определяющим и устанавливающим свои отношения с миром через практику чтения и письма – то есть письменной личностью. Письмо и книжность фигурируют в статье-воспоминании не только как сфера исследовательского интереса исторического психолога, но и как форма существования его «я». С опорой на шкуратовское понимание бельсайнтистики – термина, вводимого в академический обиход по аналогии с беллетристикой, и позволяющего зафиксировать превращение поэтики, фикционализации и литературной формы в эпистемологический инструмент и метод исследователя, – автор фиксирует текстуализированные обертонны присутствия, стиля взаимодействия и направленности личности того, о ком сейчас так важно вспоминать.

Ключевые слова: письменная личность, историческая психология, бельсайнтистика, В.А. Шкуратов, воспоминания

1

Переизобретая науку психологию, Ростовский профессор Владимир Александрович Шкуратов предложил свой проект гуманитарного насыщения психологического знания, известный как историческая психология. Его эпистемологическая интенция в значительной своей части заключается в том, чтобы усилить гуманитарный пафос академической психологии и вернуть ей гуманизм, которого психологическая наука, возникшая в последней четверти XIX в. под крылом физиологии, толком и не знала. Между тем, как считает Шкуратов, позитивистская сциентизация – будь то ориентация на образцы биологической науки или математики – разрушительна для интегрального проекта изучения человека:

«Парадокс научной психологии в том, что чем более она приближается к научности, тем менее она о человеке. В конечном итоге тот живой испытуемый, которого психолог-исследователь хочет видеть перед собой, исчезает в рядах цифр, чертежей и малопонятных слов. И хотя перед исследователем человека маячит заманчивая перспектива инженерной профессии, он вправе задаться вопросом: что же он в конце концов изучает?» [Шкуратов 2015: 48].

Историческая психология в редакции ростовского профессора мыслилась изучением человека в большом времени истории, пом-

ноженным на выявление исторической специфики формирования психических структур и процессов. Задача, которую Владимир Александрович ставил перед исторической психологией как наукой о человеке, состояла в том, чтобы расширить и усовершенствовать эмпирические основания человековедения:

«Человеческий облик должен быть спасен от сверхтеоретизированности возвращением ему некоторых чувственных качеств. Но это уже не натуральная, а гуманизированная доктрина, она не столько концептуализирует, сколько сенсуализирует» [Там же: 50].

Такая постановка вопроса предполагает, что ключевым способом доступа к человеку, которым располагает исторический психолог, становится письмо. Оно же выступает главной формой организации опыта, памяти, идентичности и других форм присутствия людей предшествующих эпох. Более того, почти все они даны исторически ориентированному психологу (впрочем, как и психологически ориентированному историку) как письменные личности, что позволяет выдвинуть этот, в общем-то не самый известный, термин на авансцену экологического исследования специфики существования человека во времени и культуре.

Эти заметки – о письменной личности, «придуманной» профессором Шкуратовым

в рамках олитературенной и гуманитарно насыщенной психологической науки, а также о нем самом как о письменной личности, которая не только в своих текстах, но и в самой жизни сохраняла принадлежность высокой письменной культуре.

2

Знакомясь с письменными личностями Чехова или Достоевского в текстах Шкуратова, поначалу можно принять эти описания за традиционную для психологии редукцию текста к личности автора в ряду ее особенностей, проблем и патологий. Такого и в психологии, и в беллетристике достаточно. Не один Достоевский, но и Кафка вместе с Толстым немало пострадали от такого помертного психоанализа, как и от выявления социальных детерминант и предпосылок их творчества. Такой комментатор или биограф находит уместным придвинуться к автору неприлично близко, от чего автор, скорее всего, был бы не в восторге. Однако читатель Шкуратова обнаруживает столько стиля, исполненного достоинства, деликатности и хорошо оснащенного интереса к предмету, что внимание перемещается к другим вещам.

Предметом рассмотрения здесь становится необходимость, потребность или привычка обращать самого себя в письменный текст. Шкуратов определяет письменную личность как «антропокультурную развертку

ку человеческой целокупности на площадке литературно-нарративного опосредования» [Шкуратов 2016: 147]. «Человеческая целокупность» – это и есть конкретный человек в многообразии и связности его внешней и внутренней жизни. А «антропокультурная развертка на площадке литературно-нарративного опосредования» – это испытание, расширение и преобразование собственным текстом, который усложняет устройство психических материй, придавая им качества знакового, символического, коммуникативного, предметного и культурного целого в его конкретно-историческом своеобразии.

3

В наиболее общем и отвлеченном от техники сочинения смысле текст – это созданное автором добавочное (и идеальное) жизненное пространство, где возможны выбор, поиск, труд, чувства, опыт, борьба, прекрасное, – словом, все то, что мы испытываем и делаем в реальной жизни, а не теперь – воплощенное на бумаге. Перенесенное в текст, содержание реальности в этой умышленной модификации приобретает характер «повторения пройденного», ретроспекции, свидетельства – в том смысле, который имел в виду Хайдеггер, когда описал, как в идеализированной форме нарратива мы возвращаем хаотический опыт существования к порядку и ясности бытия. Текст здесь

выступает экзистенциальной потребностью человека в его сущностном определении, обеспечивающем сосуществование идеального и реального.

Разумеется, у текста есть и своя правда, и своя техника. А его порождение предполагает и специфический опыт слова, и мастерство. Но все это нужно лишь для того, чтобы сделать написанное прозрачным или, напротив, темным, чтобы читающий увидел именно то, что хотел передать пишущий, даже если этот письменный акт – акт автокоммуникации, как в дневниковых записях. Своды ограничений и средств выражения; игра, грандиозная в своей сложности и гармонии языка; пафос события и его драматическая открытость переживанию; ощущение необратимости и неизбежности, возникающее в предвкушении двойничества и зеркальных отражений в других текстах, другой памяти и других жизнях – все это, как сирена, манит пишущего, затягивает его в водоворот мира, простирающегося перед мысленным взором много дальше, чем позволяет физическое зрение. Это путь, на котором становятся письменными личностями.

4

Сам процесс писания бывает разным. Кому-то для вдохновения нужны перо и чернильница, кому-то – сигарета и пепельница, а то и диктофон, допинг или медитация. Одному необходим воображаемый читатель,

другому – только сам текст. Но таинственная соизмеримость представления и текста, образа и текста, опыта и текста, пророчества и текста, видения и текста, бытия и текста, замешанная на свойстве текста растворяется в мысленной видимости заключенной в нем реальности, проступает в мимолетности того, как текст составляется, обретает композиционные очертания, в ходе редактуры настраивается, как фортепиано, и наконец, подобно скульптуре, освобожденной от ткани в момент демонстрации публике, обретает ясные очертания и завершённую форму.

Бывают такие пишущие, у которых текст рождается сразу, как эпистола, готовая к отправлению. Здесь время непостижимым образом изымается из репрезентации. «Событие» теряет приставку, а осязаемая – философ сказал бы *материальная* – конкретная, физическая, живая реальность оказывается заключена в странном, не имеющем собственного назначения предмете, представляющем собой поверхность, на которой видна некая нить, проходящая невероятно сложный и прерывистый путь. Но каждый, знающий язык, всматриваясь в поверхность и нить, способен представить себе нечто, не имеющее ничего общего с этим листом бумаги, пергаментом, буковой табличкой, камнем, кожей – всем, на чем можно писать. Текст как предмет подобен хазарскому горшку у Павича, обладать которым можно, только разбив его. Мы не знаем, откуда приходят

слова, которые, как нам это представляется, имеет смысл записать. Библия сходится с некоторыми феноменологическими и структуралистскими теориями в том, что язык предшествует реальности, а буква – языку.

5

Сегодня, на исходе логоцентрической эпохи, когда визуальный образ потеснил слово [Шкуратов 2006], мы больше, чем когда-либо, можем видеть, до какой степени уменьшились интенции написанного слова – меньше древних эпитафий и инскриптов на предметах. Но еще живы или совсем недавно ушли – как, к сожалению, и сам В.А. Шкуратов, – те, чьей стихией была та скриптореальность, где органично сосуществовали обширные эпистолы, мемуары, толстые романы, собрания сочинений, а текстуальный опыт чтения и письма был соизмерим с жизнью.

Если же характеризовать исторически укорененное в этих мирах соотношение реального и письменного, то письменное по праву занимало в них видное, фундаментальное место, претендуя на то, чтобы быть средоточием реальности, и приобретая, таким образом, ключевое антропологическое и даже онтологическое значение. Канонические тексты несли в себе своды идей, смыслов и символов. В том мире эти тексты были **чем-то вроде современной инструкции** к электроприбору: в них содержалась информация от производителя о назначении, качестве, устройстве, пошаговых

правилах пользования, интерфейсе управления, технике безопасности в применении данного устройства. Реальность воспринималась как производная от текста, а текст – как предсказание реальности, ее смысл и предпосылка. Сам мир был воплощенным, ожившим, сбывшимся текстом, подобно тому, как в XVII в. Книга природы была символическим зеркалом Библии и комментарием к ней.

6

Вот с чем имеет дело человек, взявшийся писать. Удивительно ли, что на этом пути можно зайти настолько далеко, что потеряешь дорогу назад? Об этом и многом другом мне хотелось бы спросить Владимира Александровича. Возможна ли письменная личность, пишущая лишь эпизодически? А не пишущая вовсе, как Сократ или Гомер? Свои вопросы я не успел задать ему при жизни. Но теперь, когда получить ясный и определенный ответ уже невозможно, остается работа предположения, которая, быть может, поможет кое-что уточнить. Основанное на опыте личного общения, это предположение заключается в том, что, несмотря на обширные экскурсы в историю жизни и творчества ряда литераторов, сделанные Шкуратовым в академических текстах, концепция письменной личности имела для него самого глубоко автобиографическое звучание.

Целый ряд особенностей жизни и личности В.А. Шкуратова определенно отсылают к отдельным чертам и общему каркасу пись-

менной личности. И хотя письменной личностью можно быть по-разному и, видимо, в разной степени, то, что мы можем сказать о самом авторе понятия, определенно позволяет видеть в нем письменную личность, мощно подчинившую себе «я» и биографию, которые оказались по большей части событиями письма.

7

В мирах письма существовали великие герои слова: Бозций, Данте или Пруст. Но там же имел место обычай, следуя которому, самые разные люди писали. Писали дневники, письма, путевые заметки, эпиграммы, стансы, графоманские, а иногда и вполне приличные романы. Они сочиняли поэмы и пьесы для домашнего театра, рецензии и поздравления – все, что было кстати и к месту. Владимир Александрович больше, чем это обычно бывает у гуманитариев и психологов, интересовался тем, что он называл литературой второго ряда, составлявшей значительную часть обихода письменной эпохи.

Регулярное и разнообразное, бытовое писание нимало не препятствовало созданию более специальных и масштабных по своему

назначению текстов, испытывая их оживляющее воздействие, как это можно наблюдать то здесь, то там¹. Еще и поэтому так важно увидеть опубликованными домашние записи и дневники В.А. Шкуратова. Не только в своих научных работах, где с высоким академизмом соседствует нетривиальный и выразительный нарратив, но и в пока еще не известных нам отрывках и набросках, не вошедших в опубликованные тексты, в пометках на полях прочитанных книг, в технических и памятных записях, конспектах и зарисовках В.А. Шкуратов неизменно реализовывал себя в качестве той самой письменной личности, что в наши времена становится едва ли не легендой.

8

Быть может, запись в том, некогда имевшем место значении, была своеобразной формой финализации реальности? Быть может, для того чтобы перевернуть страницу прошедшего, его следует записать, получая искомую страницу, пригодную для переворачивания? Запись позволяла запомнить нечто или – напротив – забыть. Она сохраняла улику для оправдания или осуждения.

¹Так, издательство «Литературный музей» опубликовало обширный том текстов Арсения Тарковского, включив в него маргиналии письменного наследия – не только его заметки, но и собственноручные надписи на книгах и фотографиях, шуточные стихотворные послания и стихи из фронтовой газеты «Боевая тревога». Они дают доступ к множественному письменному «я» литератора [Тарковский].

Окликала молчание вещей, чтобы разбудить их и заставить говорить – подобно тому, как это делали древние греки, знавшие толк в экфрасисе. Одни записывали из смелости, другие – из трусости. Кто-то – беззаветно, а кто-то и с умыслом.

Как мне сейчас представляется, Владимир Александрович записывал, чтобы понять и сохранить. Запись была для него долгом и большой работой по изучению массива текстов, настолько обширного, что его слагаемые могли сообща притворяться одним и тем же всеобъемлющим текстом, соединяясь и отражаясь друг в друге. Шкуратов занимался ими, чтобы показать и объяснить, что происходит с письменными материями. Он был равнодушен к деньгам, а в особенности к тем, что делают деньги. Но «тексты, которые делают тексты», которые этими новыми текстами «чреваты», такие тексты, по видимому, имели над ним свою завораживающую власть.

9

Владимир Александрович вовсе не обретался в башне из слоновой кости. Он был человеком общительным, внимательным и с виду мягким. Ему была свойственна некая антикварная вежливость, происходящая из его несколько книжной, но исключительно живой и остроумной речи вместе с непредумышленной, кантианской доброжелательностью. Однако эта вежливость не была

препятствием для высказываний и реакций, которые он считал уместными или необходимыми. И когда он в своей безукоризненной манере предлагал какую-нибудь концепцию, способную привести в ступор собеседника, тот не мог решить, обижаться ему или прийти в восторг, запомнив сказанное на всю жизнь.

Было время, когда в местном университете почти ежегодно и с большой помпой устраивали культурологические конгрессы. В кулуарах одного из них всесоюзное светило, прибывшее в Ростов из столиц, сетовало, что на доклад «Мудрость как феномен культуры» (многие вещи тогда исследовались как феномены культуры) ему выделили мало времени. И тут в небольшой паузе, образовавшейся, покуда присутствовавшие обсуждали, чем бы светило утешить, Владимир Александрович задумчиво изрек: «Мудрость должна быть афористична».

10

Он и являл собой пример такой афористичности. Его речь была ироничной и остроумной, отличающейся лаконизмом и точностью. Выдающаяся начитанность Шкуратова выражалась в каскаде упоминаний людей и событий разных времен, возникавшем в связи с затронутой в разговоре темой. Он не пренебрегал забытым в наш грубый век изяществом, отчего казался порою сошедшим со страниц тех

самых старых книг, что он так прекрасно и детально помнил.

Обосновывая смещение гуманитарного знания в сторону литературы, Владимир Александрович не ограничивался теоретическими выкладками. С несомненным умением и очевидным талантом он органично вплетал в тексты элементы им же определенной бельсайнтистики – эпистемической функции, реализуемой средствами поэтики [Шкуратов 2015: 232]. Его собственная манера думать посредством литературной формы обладала обаянием той самой «книжной чувственности», что составляет важную часть доктрины гуманитарно ориентированной исторической психологии. Его собственный случай дает счастливый пример того, как занятия письмом становятся способом существования.

11

В «Словах и вещах» Мишель Фуко как-то обмолвился, что худощавый Дон Кихот с его конем и копьем был сам похож на букву [Фуко: 94]. Лишенный копья и коня, Владимир Александрович не был похож на букву, но его чрезвычайный интерес к буквам и тому, что из них состоит, был хорошо виден не только в том, что он говорил, но и в том, как он отстранялся от того, что к этим буквам не относилось.

Но если дело касалось текстов, он оживлялся. В жаркий ростовский летний день 1981 г. Владимир Александрович и я, два молодых

преподавателя, сопровождавшие студентов философского факультета в их движении навстречу помощи селу, отплывали на речном кораблике в совхоз Багаевский. Нас ждал консервный завод, где в трехлитровые банки трамбовали огурцы, закатывали горошек и заготавливали малосъедобную овощную продукцию. Расположившись на маленькой палубе, Владимир Александрович первым делом поинтересовался, что я везу с собой почитать. Я вытащил школьное издание «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, которой тогда зачитывался и знал почти наизусть. Шкуратов одобрил. О себе же сказал, что везет «популярную книжуленцию», и извлек из портфеля потрепанный пухлый том. Это были «Братья Карамазовы».

12

В одном французском романе два персонажа рассуждают о Царствии небесном:

– В Царствие небесное так трудно попасть, потому что оно очень мало, не больше коробки для обуви, – рассуждает один.

– Месье имеет в виду, скорее, спичечный коробок, – вторит ему другой.

Метафора призрачного, мгновенного существования мысленного в реальности, где, вопреки Платону, места для него не предусмотрено, касается и тех, чья воля обращена, главным образом, к мысленному. Можно назвать это смирением или высокой гордыней. Не все ли равно?

Шкуратову ничто не мешало. Казалось, в реальном мире ему было достаточно сколь угодно малого места, ввиду тех обширных владений, которые имелись у него в мире мысленном. Однажды в «багаевский рабочий полдень» я наблюдал, как Владимир Александрович, не испытывая ни малейшего дискомфорта, перекусывает куском хлеба. Он тогда назвал это обедом, притом – прекрасным обедом. Но ведь была столовая, где можно было пообедать бесплатно (совхоз кормил своих помощников). Однако Владимир Александрович не успел на обед. Чем же он был занят? Читал.

Рассказывали, как, командированный в Москву, он отправился с вокзала в Ленинку, где и просидел допоздна. Службы расселения МГУ были уже закрыты, и принять его в общежитии было некому. Ночевал он на вокзале. Не знаю, не спрашивал его об этом. Не поручусь. Но именно с ним такое могло произойти.

13

Свобода воли – это, конечно, внутренняя свобода, которая только растет под влиянием внешних ограничений. Владимир Александрович обращал в свое преимущество то, что бесконечно подавляло и мучало других. На реальность он смотрел глазами, я бы рискнул сказать, исторического психотерапевта. Это сугубо «письменная» позиция, ибо ее, разумеется, нельзя реализовать иначе, чем как за письменным столом. Быть может, именно здесь брала свое начало его легендарная невозмутимость?

Припоминаю ситуацию. Консервный завод. Задний двор. Ночная смена. Огурцы не могут ждать, поэтому их консервируют круглые сутки. Под фонарем на перевернутом ящике сидит Владимир Александрович в окружении гор битого стекла. Он читает уже не Достоевского, а антикварное французское издание Дунса Скота, видного схоласта XIII в. Текст набран в два столбца – на латыни и на французском. Если какое-то место на латыни дается Владимиру Александровичу с трудом, он прибегает к французскому переводу. Вскоре появляется начальница цеха, расстроенная тем, что студенты работают на конвейере без надлежащего надзора. Она зычно взывает к читателю, но Владимир Александрович ее не слышит. Не знаю, как это ему удавалось. Он просто сидел и продолжал читать. Да и она к нему особенно не приближалась, будто это была опера, и нужно было петь для зрителей. Начинала начальница задорно и громко: «И главное, он сидит!» Утром по пути с завода к общежитию Шкуратов объяснял мне, что тема изложения – как мелодия, ее просто нужно слышать. Потом я встретил похожие рассуждения в его книге.

14

Когда мы как-то раз брели вдоль бесконечных багаевских заборов, Владимир Александрович сказал, что один из генсеков окажется либералом, и все здесь изменится движением сверху, а не снизу. Загадывать так далеко было немислимо. Еще был жив Брежнев, и, каза-

лось, этот порядок вещей, он же – дикий беспорядок, – укоренен. На исполнение пророчества Владимира Александровича потребовалось десять лет, но сбылось все точно, как он тогда сказал летом 1981 г. в поселке Багаевском Семикаракорского района Ростовской области.

15

Его не особенно удручали неустроенность и походный характер советского образа жизни, скудость обстановки и ограничения возможностей самореализации. Он путешествовал мысленно с картами и путеводителями в руках, осваивая воображаемую географию.

В начале девяностых Владимир Александрович оказался в доме, где один из гостей оживленно рассказывал о путешествии на Канары. Человек, внезапно добившийся многого для себя, был не прочь поразить присутствующих своими невероятными приключениями. Тем более, что по тем временам поездка в заморскую страну, яхты, рыбные рестораны все еще воспринимались нашим постсоветским сознанием как чудо. «Вышли на яхте из (место никто не запомнил), – рассказывал он, – слева мыс Тене...» И вдруг Владимир Александрович говорит: «Да нет, он справа». Проверили по карте. Мыс был справа, как и сказал Шкуратов.

16

Во время учебного семестра, обнаружив, что из потока мехмата на его факультатив пришел один студент, Владимир Александрович

прочел ему двухчасовую лекцию. На следующую лекцию пришел весь курс.

Шкуратова не раздражал разрыв между его видением научных проблем и чрезвычайно разным уровнем в научном сообществе, где отставники, читающие курс инженерной психологии, изучали «формирование шофера в онтогенезе». Не способные понять его, они ставили ему в вину свое непонимание. Ну а он с равным интересом общался и с профессурой, и со студентами, вышучивая больше первых, чем вторых.

Его расположение к тем, кто находится в стесненных обстоятельствах, выходило далеко за пределы студенческого круга. Припоминаю, как в багаевские времена в комнате преподавателей появились два студента со словами о ведре раков, с которыми нужно что-то делать. «Выпустить», – тут же посоветовал Шкуратов.

Я не могу вспомнить ни одного проявления во Владимире Александровиче даже тени того, что мы называем злостью. Он ни к кому не снисходил, ему это было не нужно. Умел слушать. В своих комментариях был необычайно точен и афористичен. В нем не было горечи, как будто реальность была для него прежде всего потенциальной повестью, и он различал неизменно присутствующий в ней свет волшебного фонаря – ту феноменологическую прозрачность вещей, готовых, получив имена, перейти в неизменность записи.

17

По рассказам учеников Владимира Александровича, поля книг, которые он одалживал им для работы, были испещрены карандашными пометками и комментариями. Мы не можем покинуть книги, которые для нас важны. Настоящие книги заселены пестрыми толпами читателей, накопившихся за все века, что прошли с момента их написания, и ничто не способно выгнать нас из них. Они остаются жить за нас и после нас, принимая нас на борт, как большие корабли, – безымянных и невидимых, но избавленных от небытия на их прочных палубах. И сдается мне, Шкуратов знал об этих книгах куда больше, чем иные весьма искушенные читатели. Да и сами книги могли знать о нем кое-что большее, чем знали о других читателях. Между ним и книгами угадывалась какая-то трудноопределимая связь.

Казалось, он видит реальность не совсем как реальность. Его взгляд на вещи иногда напоминал взгляд художника на пленэре, всматривающегося в объекты, которые предстоит изобразить. Так смотрит человек, намеренный зафиксировать, чтобы понять. Практическая сторона вещей не была ему безразлична. Но он видел в них что-то еще, что интересовало его в значительно большей степени. Как будто окружающий мир был, прежде всего, предметом суждения, ну, и, конечно, местом жизни, местом чтения и записи.

Эти беглые заметки – всего лишь одна из попыток, неизбежно тщетных, сохранить в памяти то, что теперь может храниться только в ней. Письменное наследие Шкуратова еще может принять форму полного собрания сочинений, что позволит новым его читателям общаться с Владимиром Александровичем как письменным личностям с письменной личностью. Они хорошо поймут друг друга.

Литература

Тарковский, А.А. Стихотворения разных лет. Статьи заметки интервью / отв. ред. Д. Бак. М.: Литературный музей, 2017.

Фуко, М. Слова и вещи: Археология наук о человеке / пер. с фр. Н. Автономовой. М.: Прогресс, 1977.

Шкуратов, В.А. Искусство экономной смерти: сотворение видеомира. Ростов-на-Дону: Наррадигма, 2006.

Шкуратов, В.А. Историческая психология. Введение в историческую психологию. Кн. 1. М.: Кредо, 2015.

Шкуратов, В.А. Литература как спасение (к сотериологии Ф.М. Достоевского) // Политическая концептология. 2016. № 3. С. 146–169.

References

Foucault, M. (1977). *Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines* [The order of things. An archaeology of the human sciences]. Moscow: Progress.

Tarkovskij, A.A. (2017). *Stihotvoreniya raznyh let. Stat'i, zametki, interv'yu* [Poems from different years. Articles, notes, interviews]. Moscow: Literaturnyj muzej.

Shkuratov, V.A. (2006). *Iskusstvo ekonomnoj smerti: sotvorenie videomira* [An art of the thrifty death. Creation of the video-world]. Rostov-on-Don: Narradigma.

Shkuratov, V.A. (2015). *Istoricheskaya psikhologiya. Vvedenie v istoricheskuyu psikhologiyu* [Historical psychology. Introduction] (Book 1). Moscow: Kredo.

Shkuratov, V.A. (2016). *Literatura kak spasenie (k soteriologii F.M. Dostoevskogo)* [Literature as salvation: towards the soteriology of Dostoevsky]. *Politicheskaya Konceptologiya* [Political Conceptology], 1, 146–169.

Для цитирования: Слепаков, В.С. Перечитывая Шкуратова // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. 2023. Т. 8. № 4. С. 70–83. DOI: 10.18522/2415-8852-2023-4-70-83

For citation: Slepakov, V.S. (2023). Re-reading Shkuratov. *Practices & Interpretations: A Journal of Philology, Teaching and Cultural Studies*, 8 (4), 70–83. DOI: 10.18522/2415-8852-2023-4-70-83

RE-READING SHKURATOV

Vladimir S. Slepakov, PhD in Philosophy, independent scholar (Moscow, Russia); e-mail: menelik@mail.ru

Abstract. The author discusses the close intertwining of the “self” of the humanitarian, his life trajectory and the sphere of scientific interests through lens of a written personality – a term developed by V.A. Shkuratov within the framework of his original historical psychology project. Historical psychology from the perspective outlined by the Rostov professor is defined as an interdisciplinary field where the existence of a person in a big time of history is observed in connection with the cultural and historical becoming of mental processes, states, phenomena, and traits. The researcher’s access to the inner world of man of the past is provided exclusively through a series of objectifications and mediations, the main of which the writing remains. The written personality, thus, turns in Shkuratov’s texts into a cornerstone model for discovering the different ways of personality existence in history and culture. Starting from the epistemic base, the author creates memoirs on professor Shkuratov, where he appears as a person who defines and establishes his relationship with the world through the practice of reading and writing – that is, a written personality. Writing and bookishness appear in the memorated paper not only as an area of research interest for a historical psychologist, but also as a form of existence for his “self.” Based on the modus of belle-scientistics – a term introduced by Shkuratov into academic use by analogy with belles-lettres, which allows us to capture the transformation of poetics, fictionalization and literary form into an epistemological tool and method of the researcher – the author captures the textualized overtones of the presence, interaction style and personality orientation of the one who is so important to remember now.

Key words: written personality, historical psychology, belle-science, V.A. Shkuratov, memoirs

